

## **У истоков российского консерватизма: Николай Карамзин и Жозеф де Местр**

1803 год в российской истории вроде бы не отмечен каким-либо памятным событием, имеющим общенациональное, а тем более мировое значение. Обычный год, один из многих. Так кажется на первый взгляд, когда мы перелистываем календарь и не находим в этом году дат, сопоставимых, например, с тем, что произошло в 1801, 1812 или 1825 годах. Но именно в этом году произошли два события, которые уже в недалеком будущем сыграли ключевую роль в выборе пути развития Российской империи. Это – приезд в мае в Петербург в качестве посланника сардинского короля одного из классиков (наряду с Э. Бёрком) европейского консерватизма Жозефа де Местра и назначение высочайшим указом от 31 октября будущего классика консерватизма российского Николая Карамзина на должность официального историографа.

Опять же поначалу не совсем понятно, как связаны эти события между собой, особенно если учесть, что де Местр вплоть до высылки из России в мае 1817 года практически не покидал Санкт-Петербург, а закоренелый москвич Карамзин приехал в столицу лишь в 1816 году – через двадцать лет после последнего туда визита! Знали ли они друг о друге? Несомненно. Общались ли? Весьма вероятно. Но предполагали ли они, что именно их Записки, адресованные императору Александру I в 1811 году, предопределяют судьбу государства Российского на столетие (или – столетия) вперед? На этот вопрос можно ответить вдвойне утвердительно, поскольку не только предполагали, но и сознательно именно на это и рассчитывали.

Помимо судьбоносного имперского масштаба есть в этой истории и чисто личностный аспект. И Карамзин в своей «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», и де Местр в своих «Четырех главах о России» обращались к российскому императору с достаточно дерзкой просьбой – остановить им же самим инициированный и отчасти уже воплощенный проект радикального реформирования России. Что неизбежно означало – отстранить от дел того, кто от имени и по поручению Александра составил план реформ и начал активно их осуществлять. Речь, разумеется, о секретаре Государственного Совета Михаиле Михайловиче Сперанском.

### 1

Его блистательный карьерный взлет и стремительное падение накануне войны с Наполеоном хорошо изучены историками. Зависть к «поповичу», выходцу из среды низшего провинциального духовенства, придворные интриги

*Поляков Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор Департамента политической науки Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики; член Экспертного совета Фонда ИСЭПИ. E-mail: leopolen@yandex.ru*

против задевшего многие корпоративные интересы реформатора привели к его внезапной отставке и ссылке в Нижний Новгород 17 марта 1812 года. Но одно дело – слухи, доносы и провокации со стороны царедворцев, и совсем другое – своего рода вызов на заочную интеллектуальную дуэль, который был брошен Сперанскому сначала Карамзиным, а затем и де Местром. Ведь, ссылая Сперанского, Александр действительно, по его собственным словам, всего лишь «уступал моим подданным» [10, с. 147], но вместе с тем после постепенной реабилитации реформатора император к ключевым положениям реформы (созыв Государственной Думы, принятие Конституции и отмена крепостного права) все-таки не вернулся. Это могло означать, что критика реформы со стороны Карамзина и де Местра возымела свое действие, и, возвращая Сперанского на значимые государственные посты, император, однако, передумал давать ход его – а на самом деле своим собственным<sup>1</sup> – центральным идеям.

Именно поэтому прежде чем заняться сравнительным анализом записок Карамзина и де Местра, необходимо обрисовать в общих чертах план их оппонента. План этот был изложен в четырех текстах, представленных императору в течение 1809 года. Это: «Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования)», «Проект Уложения государственных законов Российской Империи», «Краткое начертание государственного образования» и «Общее обозрение всех преобразований и обозрение их по временам».

Первый текст – это политико-философское и методологическое обоснование всего проекта радикальной реформы государственного устройства империи с его детальным описанием и обоснованием. Второй документ – специальное описание полномочий и прерогатив императорской власти в ее взаимоотношениях с остальными государственными институтами. Текст третий – концентрированное изложение структуры и функций органов государственной власти всех уровней. Наконец, документ последний подводит смысловой итог всем планируемым преобразованиям и устанавливает для них четкие временные рамки. Первая же фраза документа четко определяет смысл всех реформ: «Сила всех преобразований состоит в том, чтобы постановить образ правления Империи на непременимом законе, дать внутреннее политическое бытие России» [7, с. 405]. А завершается он таким оптимистическим пассажем: «Если Бог благословит все сии начинания, то к 1811 г., к концу десятилетия настоящего царствования Россия восприимет новое бытие и совершенно во всех частях преобразуется» [7, с. 410].

В самом общем виде план Сперанского (и самого Александра I) состоял в том, чтобы ввести в России систему разделения властей по горизонтали и вертикали, закрепив ее посредством принятия Конституции. По горизонтали предстояло создать институты законодательной, исполнительной и судебной власти, с тем чтобы потом спроецировать эту структуру с общеимперского на губернский, окружной и волостной уровни. Эта по сути республиканская структура дополнялась властью монарха, которая, не теряя своих прежних полномочий (решающее слово при принятии любого закона оставалось за императором, как и его руководство исполнительной властью), тем не менее вписывалась в строго очерченные конституционные рамки.

Этот самый проблемный момент Сперанский трактует с ошеломляющей прямотой, утверждая: «Общий предмет преобразования состоит в том, чтобы

<sup>1</sup> Не случайно сам Сперанский в письме Александру от 1813 года подчеркивал, что «план всеобщего государственного образования» по сути своей «не содержал ничего нового, но идеям, с 1801 г. занимавшим Ваше внимание, дано в нем систематическое расположение» [7, с. 572].



правление, *доселе самодержавное* [курсив мой – Л.П.], постановить и учредить на неперемняемом законе» [7, с. 350]. И специально поясняет, что требуемое в России «устройство состоит в том, чтобы не внешними только формами покрыть самодержавие, но *ограничить* (курсив мой – Л.П.) его внутреннюю и существенную силу установлений и учредить державную власть на законе не словами, но самым делом» [7, с. 350].

Читая подобные фразы, неизбежно задаешься вопросом: что могло побудить самодержца всероссийского одобрить реформу, ограничивающую собственную власть? Так же как и вопросом еще более важным: как мог Сперанский вообще осмелиться размышлять на этот счет? А тем более предлагать четкий план по трансформации самодержавия в конституционно ограниченную «державную власть»?! Ведь вполне могло быть так, что Александр, предлагая своему ближайшему помощнику этот сюжет, на самом деле задумывал просто испытывать его на лояльность. И Сперанский, прошедший до этого заметные ступени карьерной лестницы и хорошо знавший нравы и дух двух предыдущих царствований, должен был бы быть предельно чуток и осторожен именно в таких вопросах. В былые (екатерининские, а тем более – павловские) времена речь могла пойти не просто об отставке, но и о мерах куда более крутых. И тем не менее...

Конечно, реформаторский настрой Александра можно отчасти объяснить памятью об эксцессах отцовского самодержавства, отягощенной к тому же травмой невольного соучастия в отцеубийстве. Власть, с одной стороны, ничем не неограниченная, но, с другой стороны, именно поэтому и совершенно ненадежная, зависящая не от законов и институтов, а от интриг и заговоров ближайшего окружения, должна была восприниматься новым императором как весьма коварное наследство. И сделать ее одновременно и максимально эффективной и максимально защищенной было для Александра вполне естественным стремлением. Но это стремление самодержца еще надо было настолько грамотно и убедительно аранжировать, что само такое предприятие превращалось в рискованную игру с непредсказуемым результатом.

Однако Сперанский нашел такие беспрюирышные ходы, которые не только продвинули его по карьерной лестнице, поставив по степени влияния в империи на второе место после государя, но и обеспечили мощный реформаторский рывок. И не его вина, что «дней Александровых прекрасное начало» не нашло продолжения, а тем более завершения. Вмешалась внешняя сила – Наполеон. Но еще до этого вмешательства умонастроение Александра стало меняться под воздействием контрреформаторской критики со стороны таких двух выдающихся интеллектуалов, как Карамзин и де Местр. Они оба сумели поколебать само основание той логики Сперанского, с помощью которой он сумел убедить российского самодержца в необходимости отказа от самодержавия.

Для того чтобы понять эту логику и ее основание, необходимо обратиться к «отделению второму» «Введения к уложению государственных законов», в котором Сперанский излагает свои тезисы «О разуме государственного уложения». В переводе на современный русский научный язык здесь речь идет о построении универсальной классификации политических систем, представленной в диахронном формате и спроецированной на конкретный российский случай. Уже сам этот заход повышал статус всего предприятия, поскольку вписывал российскую государственную реформу в контекст всемирной истории и приводил александровское царствование в полное соответствие с тем, что на языке той эпохи именовалось «духом времени». Что мог возразить Александр своему помощнику, читая такие слова: «Итак, время есть первое начало и источник всех политических обновлений. Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против всемогущего его действия устоять не может?» [7, с. 343].

Но о каком именно времени говорит Сперанский? О большом, историческом времени, в котором происходит взаимозамена трех «великих систем» – республиканской, феодальной и деспотической. Сперанский не чужд того, чтобы придать этим системам и определенную геолокацию, указывая, что республики сначала обнаружили в Греции и Риме, феодальная система – на Севере с последующим распространением по всей Европе, а деспотическая – на Востоке. Но эта геопривязка для него не существенна, поскольку его главное внимание направлено на то, чтобы выявить историческую динамику системных перемен именно в Европе, коль скоро именно в ней законное место России. А динамика эта такова. От античных республик в Европе совершается переход к феодальной системе, а затем после крестовых походов и централизации власти эта система трансформируется в то, что Сперанский определяет как «феодальное самодержавие».

Дальнейшая трансформация европейского феодального мира представляет собой как бы возврат к античному республиканскому порядку, но под влиянием трех факторов. Как уточняет Сперанский, «время, просвещение и промышленность предприняли воздвигнуть новый вещей порядок, и приметить должно, что, на все разнообразие их действия, первоначальная мысль, движущая их, была одна и та же – достижение политической свободы».

Таким образом приуготовился третий переход от феодального правления к республиканскому, основался третий период политического состояния государств» [7, с. 344].

Представив Александру всемирно-историческую и конкретно европейскую логику движения «духа времени», Сперанский обнаруживает ее действие и в России. Удельный период он определяет как господство феодальной системы. «Татарские походы» в царствование Ивана Грозного сыграли ту же роль, что и крестовые походы в Европе – их результатом стало установление системы «феодального самодержавия». И с того времени, то есть с конца XVI века и «до дней наших, – утверждает Сперанский, – напряжение общественного разума к свободе политической всегда более или менее было приметно» [7, с. 345].

Насколько убедителен перечень этих «напряжений» начиная с царствования Алексея Михайловича и заканчивая царствованием Павла I, вопрос интересный, но для нашего сюжета не решающий. Что понимал и сам Сперанский, для которого самым важным было убедить Александра в том, что именно в его царствование настал тот самый момент, когда «дух времени» властно требует перехода от «самодержавия» к «свободе». С этой целью он приводит четыре аргумента, которые, с его точки зрения, неопровержимо свидетельствуют о глубочайшем системном кризисе, выход из которого возможен только посредством системной же реформы.

Во-первых, Сперанский обращает внимание императора на то обстоятельство, что чины и награды перестали быть предметом гордости и «народного уважения». И это грозный симптом, поскольку он обнаруживается «и во всех других государствах в той эпохе, когда феодальная система приближалась к своему падению» [7, с. 348]. Аккуратно поместив ссылку на Французскую революцию в подстрочную сноску, Сперанский тем не менее ясно намекал на то, какое будущее может ожидать Александра, если он промедлит с реформой.

Во-вторых, Сперанский прямо пишет об «ослаблении власти», различая власть «физическую» и «моральную». Если с первой пока еще все в порядке, то вторая в стране фактически отсутствует: «Какая мера правительства не подвержена ныне осуждению? Какое благотворное движение не искажено и не перетолковано?». И ответ на эти риторические вопросы однозначен: «Одна есть

истинная сему причина: образ мыслей настоящего времени в совершенной противоположности с образом правления» [7, с. 348].

Зафиксировав то, что на современном языке должно быть обозначено как кризис легитимности, Сперанский далее, в-третьих, утверждает, что преодолеть его методом частичных улучшений невозможно. И опять же в сноске он указывает, что в нынешней ситуации расхождения образа правления с «духом времени» вина за всякий мелкий беспорядок обязательно будет возлагаться на государя: «В настоящем положении нельзя даже с успехом положить какой-нибудь налог, к исправлению финансов необходимо нужный, ибо всякая тягость народная приписуется единственно самовластию. Одно лицо государя ответственности за все постановления, совет же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могут отречься от участия там, где нет публичных установлений» [7, с. 349].

Наконец, Сперанский, в-четвертых, обнаруживает в стране «общее выражение пресыщенности и скуки от настоящего вещей порядка» и утверждает: «Как можно изъяснить сие беспокойствие иначе, как совершенным изменением мыслей, глухим, но сильным желанием другого вещей порядка» [7, с. 349].

Закономерный вывод из всех этих наблюдений за состоянием «общественного мнения» России первого десятилетия XIX века заключается в том, «что настоящая система правления несвойственна уже более состоянию общественного духа и что настало время переменить ее и основать новый вещей порядок» [7, с. 349].

Итак, реформы начались и продвинулись довольно далеко. Введение экзаменов на получение гражданских чинов, реформа финансов, включавшая обращение бумажных денег, так называемых ассигнаций, выделение исполнительной ветви власти в виде министерств и превращение Сената в высший судебный орган, наконец, учреждение Государственной Совета и назначение самого Сперанского на должность государственного секретаря – все шло вроде бы по плану. Но к началу 1811 года «новый вещей порядок» в России все еще не установился, и надежд на то, что в ближайшее время он установится, становилось все меньше. Александру предстояло сделать три главных решающих шага: созвать высший законодательный орган страны – Государственную Думу, поручить ей принятие Уложения государственных законов, то есть Конституцию, и, *horribile dictu*, начать процесс отмены крепостного права.

Необходимость последней меры диктовалась не только тем, что, как писал Сперанский, «права гражданские, то есть безопасность лица и имущества, суть первое и неотъемлемое достояние всякого человека, входящего в общество». И не только тем, что уже существуют «государства обширные и многочисленные, в коих рабство сего рода мало-помалу уничтожилось» [7, с. 361]. Дело в том, что только превращение всего населения страны в дееспособных граждан, обладающих общими гражданскими правами, с последующим добавлением особым сословиям гражданских прав частных и цензовым ограничением в отношении прав политических могло стать надежным фундаментом новой политической системы. Такую систему можно определить как своего рода «республиканскую монархию», ближайшим аналогом которой являлась, по-видимому, британская система, возникшая после «славной революции» 1688 года и которую Э. Берк характеризовал как пример «свободного правления».

Как известно, эти решающие три шага были все-таки сделаны, но уже иными государями и в иные времена. Сначала через пятьдесят лет было отменено крепостное право, затем еще почти полвека спустя сначала дарована Конституция и лишь затем созвана Государственная Дума. И тут же Россию потрясла революция, именно ради избежания которой Сперанский и призывал

Александра I дать стране «внутреннее политическое бытие»<sup>1</sup>. За ответом на вопрос, почему эти три шага не были сделаны в свое время, мы и обратимся к Карамзину и де Местру.

## 2

История знакомства Александра I с карамзинской «Запиской о древней и новой России» хорошо известна, хотя оригинал этой Записки утерян и, видимо, навсегда. Она написана Карамзиным по просьбе сестры императора Екатерины Павловны и представлена ей в феврале 1811 года. В марте во время одного из визитов императора к сестре в Тверь состоялась его беседа с историографом, и тогда же Александр прочитал Записку. По воспоминаниям, прощание императора с Карамзиным было достаточно холодным, но этот холод никак не повлиял ни на положение Карамзина, ни на судьбу той «Истории государства Российского», восемь томов которой через семь лет станут всероссийским бестселлером. Зато, по всей вероятности, повлияло на ход реформ, а через год – и на судьбу самого реформатора.

Впрочем, государев холод вполне мог быть только маской, скрывавшей ту глубокою озадаченность, в которую ввел его карамзинский текст. Ибо, по форме будучи глубоко и безукоризненно верноподданическим, по сути своей он был дерзостью, превосходившей даже ту, которую позволил себе Сперанский в цитированных выше документах. Историограф дерзал критиковать второго человека в государстве, понимая, что за ним и его реформами стоит само первое лицо!

Вот как он оговорил само право обращаться к государю с предельной откровенностью: «Доселе говорил я о царствованиях минувших – буду говорить о настоящем, с моею совестью и с государем, по лучшему своему разумению. Какое имею право? Любовь к Отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне Богом способности, некоторые знания, приобретенные мною в летописях мира и в беседах с мужами великими, т.е. в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением – испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история» [1, с. 47].

Аргумент от истории, причем не только будущей (что на самом деле напоминало вызов Александра на «суд истории»), но и истории прошедшей, – уже встречался нам в текстах Сперанского. Но формальное сходство аргумента не должно скрывать от нас глубочайшего расхождения между Карамзиным и Сперанским по существу. Последний строил универсальную (общеевропейскую как минимум) историческую схему, в логике которой интерпретировалась и история собственно российская. С вполне логичным выводом о том, что пришла пора основать самодержавие «на непремняемом законе». Карамзин же работает в иной методологии: он исследует конкретную – русскую – историческую традицию, пытаясь выявить в ней собственные закономерности, позволяющие объяснить причины могущества Государства Российского и, соответственно, адекватно оценить любые предлагаемые реформаторские инновации.

Прежде всего историограф пытается объяснить «чудо» – появление сильного Московского государства на северо-восточной окраине Европы. И объяснение он строит, утверждая, что «история наша представляет новое доказатель-

<sup>1</sup> Соблазн перевести разговор на эту тему в сослагательное наклонение замечательно выражен Натаном Эйдельманом: «Разумеется, мы не можем уверенно сказать, что было бы, если б Сперанский взял тогда верх. Однако имеем право предполагать, что для страны это было бы *хорошо*; что глубоко продуманный, тщательно разработанный план мог на много десятилетий ускорить российский прогресс; что серьезные реформы уже назрели и были бы *естественными*...» [12, с. 70].

ство двух истин: 1) для твердого самодержавия необходимо государственное могущество; 2) рабство политическое не совместимо с гражданской вольностью» [1, с. 22].

Истина первая выглядит несколько необычно, если мы помним (и вспомним не раз), что по Карамзину именно «твердое самодержавие» обеспечило России государственное могущество. Однако объяснение этому парадоксу есть и заключается оно в том, что эту универсальную истину Карамзин погружает в специфический древнерусский контекст. И тогда выясняется, что в первоначальную эпоху Древней Руси «самодержавие» первых князей Олега, Владимира и Ярослава замечательно сочеталось с вечевым порядком городов. Но как только Древняя Русь распалась на «многие области независимые» – первоначальное государственное могущество исчезло, а вместе с этим исчез и фундамент для самодержавия.

Ордынское завоевание Древней Руси – иллюстрация второй истины. Русь, превратившись в Западный улус Золотой Орды, потеряла политическую независимость. И ее князья, получая в Орде ярлык на великое княжение, оказались независимы от сограждан. Тем легче оказалось для них ликвидировать «все остатки древней республиканской системы» и основать то, что Карамзин аттестует как «истинное самодержавие» [1, с. 22].

Мы видим, что историограф оперирует почти теми же ключевыми политическими терминами, что и реформатор, говоря о самодержавии (правда не «феодальном», а – «истинном») и «республиканской системе». Но различие состоит в том, что Сперанский рассматривает республику как институт, однажды созданный в древнегреческом и древнеримском прошлом и долженствующий стать универсальным политическим институтом будущего человечества<sup>1</sup>. А для Карамзина республиканизм – это архаичный политический институт, сыгравший важную роль в генезисе российской государственности на определенном этапе, но именно поэтому не подлежащий экстраполяции на этапы последующие. А тем более – на будущее страны с пятисотлетней самодержавной традицией.

Приговор Карамзина в этом отношении однозначен: «Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством (...) но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием» [1, с. 22].

Каким же образом в «нынешнее царствование» возникла идея реформировать этот спасительный институт? Карамзин аккуратно напоминает государю, что возникли два «господствующих мнения»: «одни хотели, чтобы Александр в вечной славе своей взял меры для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе; другие, сомневаясь в надежном успехе такого предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина царствования, столь счастливую и мудрую в сравнении с системою Павла» [1, с. 47–48].

Описывая эту борьбу, условно говоря, «партии будущего» с партией «по-запрошлого», Карамзин не занимает позицию стороннего наблюдателя. Напротив, он активно вмешивается в нее на стороне «екатерининцев», выдвигая против оппонентов аргумент, подрывающий всякую практическую возможность ограничения самодержавия. Даже если принять закон (Конституцию), которому должен будет подчиняться государь, то кто будет гарантом его исполнения, резонно спрашивает Карамзин. Если Сенат или Государственный Совет, то воз-

<sup>1</sup> На источник такого взгляда Сперанского проницательно указал де Местр: «Мне однажды только удалось говорить с ним и я заметил, что он последователь Канта» [10, с. 132].

никает следующий вопрос: как будут формироваться эти органы власти? Если по воле государя, то там будут заседать «угодники царя», а если включить механизм выборов, то мы получим независимую власть – «вижу аристократию, а не монархию», резюмирует Карамзин.

Поэтому относительно спора этих двух «партий» его вердикт таков: «Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Государственного Устава она гибла и должна погибнуть, составленная из частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей машине производить единство действия?» [1, с. 48].

Настаивая на принципиальной неограниченности самодержавия в России, Карамзин пускается в весьма рискованное с логической точки зрения предприятие. Он включает в текст Записки следующую гипотетическую речь «истинного добродетельного гражданина российского», которую он должен был бы произнести перед самодержцем, готовым предписать себе законы, иные «кроме Божиих и совести»: «Государь! Ты престаупаешь границы своей власти: наученная долговременными своими бедствиями Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!..» [1, с. 48].

С одной стороны, здесь перед нами очевидное противоречие в терминах: если власть самодержца ничем не ограничена, то он властен делать все, что угодно, в том числе и ограничивать собственную власть. Или он не самодержец. Но, с другой стороны, ограничивая сам себя, самодержец перестает соответствовать своему понятию – и это тоже логическое противоречие! Но дело не столько в этой апории, сколько в том, что Карамзин фактически ставит Александра перед тем выбором, который старался максимально замаскировать Сперанский, выстраивая конструкцию «республиканской монархии». А именно: царю нужно четко осознать, что никакого «третьего» в России не дано, а есть простой выбор по принципу «или – или». Или ничем не ограниченное самодержавие, или исключаящая всякое самодержавие республика.

Карамзин писал свою Записку, глядя только на ту часть реформ, которая уже осуществилась. Но можно только догадываться, что он сказал бы, узнав о замысле Сперанского учредить российский парламент – Государственную Думу! Зато нет необходимости догадываться о его реакции на идею отмены крепостного права. На этот счет в Записке сказано немного, но достаточно для того, чтобы снискать славу закоренелого крепостника. Впрочем, попробуем вникнуть в его аргументы.

Для начала отметим, что идея эта Александром никогда публично не оглашалась, и Карамзин целиком возлагает ответственность за неё на правительство, которое «имело, как уверяют, намерение дать господским людям свободу» [1, с. 70]. К этой теме он, как обычно, подходит с исторической точки зрения, указывая на принципиальное различие между институтом «холопства», существовавшим в Древней Руси с IX века, и «вольными хлебопашцами», населявшими государство с тех же времен. Это важно, поскольку с момента отмены «Юрьева дня» в царствование Бориса Годунова и те, и другие оказались навечно прикреплены к определенным землевладельцам – и «вот начало нового рабства» [1, с. 71]. С учетом этого обстоятельства, утверждает Карамзин, в сегодняшней России уже невозможно разобраться, кто является потомком «вольных хлебопашцев» и может «по справедливости, требовать прежней свободы», а кто происходит от «холопов» и требовать этого не имеет права.





К аргументу историческому в пользу сохранения института крепостного права Карамзин прибавляет еще несколько. Во-первых, аргумент экономический. «Что значит освободить крестьян? – спрашивает историограф. – Дать им волю жить, где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их одной власти правительства. Хорошо. Но сии земледельцы не будут иметь земли, которая – в чем не может быть и спора – есть собственность дворянская». Дальнейшая перспектива печальна как для национальной экономики – «не останутся ли многие поля не обработанными, многие житницы пустыми?» [1, с. 72], так и для самих освобождаемых крестьян.

Дело в том, что, лишившись опеки своих господ, освобожденные без земли крестьяне окажутся не готовыми к полноценной гражданской свободе, риски которой перевешивают, по убеждению Карамзина, все плюсы, вытекающие из строгого следования императиву «естественного права». «И будут ли земледельцы счастливы, – задаётся он риторическим вопросом, – освобожденные от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщикам и судьям бессовестным?» [1, с. 73].

Но самый веский аргумент против *немедленной* отмены крепостного права связан у Карамзина, естественно, с приоритетом государственной целесообразности. Отсюда опять-таки дерзкое напоминание Александру: «Первейшая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целостность государства; благотворить состояниям и лицам есть уже вторая. Он желает сделать земледельцев счастливее свободой; но ежели сия свобода вредна для государства?» [1, с. 73].

Прекрасно понимая, что, убеждая государя сохранить крепостное право, он фактически подставляет его (а так же и самого себя!) под огонь критики с позиции вечных моральных ценностей, к которым в обществе христианском, несомненно, относится и личная свобода, Карамзин прибегает к такому оправданию. Осторожно соглашаясь признать крепостничество злом («положим, что неволя крестьян и есть решительное зло» [1, с. 74]), он настаивает на тезисе, согласно которому свобода требует соответствующей моральной готовности человека. А именно этого у крепостных крестьян сегодня и нет: во времена Годунова «они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов» [1, с. 73].

Отсюда окончательный и, как представляется Карамзину, морально неязвимый совет, согласно которому «для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным» [1, с. 74].

Записка Карамзина содержит развернутый критический анализ всех реформ и действий «правительства» (фактически – Сперанского) как во внешней, так и во внутренней политике. И во всех случаях приговор один – неудачно, не нужно, не своевременно. Историограф отстаивает права истории – старого традиционного порядка, сложившегося в царствование Екатерины Великой. А попытку Сперанского осовременить Россию, да еще заимствуя при этом институты наполеоновской Франции, он дезавуирует следующим образом: «Но где видим гражданское общество, согласно с истинною целью оною, в России ли при Екатерине II, или во Франции при Наполеоне? Где более произвола и прихотей самовластия? Где более законного, единообразного течения в делах правительства?» [1, с. 63]. Поэтому, задавая эти риторические вопросы, Карамзин и отваживается на императивный тон: «Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой!» [1, с. 63].

Тут мы имеем дело с весьма деликатным моментом, связанным с вопросом о том, к кому обращено требование? К Сперанскому ли? Но какой смысл требовать от него того, что он дать не может по определению, будучи убежденным реформатором?! К Александру ли? Но не явилось бы это дерзостью уже

совсем запредельной?! Хотя царь мог понять это место в Записке и в первом, и во втором смыслах, однако в действительности это скорее требование Карамзина к самому себе, по понятной причине завуалированное. Историограф не был ловким царедворцем, чинов и званий не заискивал, в интригах не участвовал, тем не менее прекрасно понимая грань между ролью царского как бы внештатного «советника» и ролью непрошенного «учителя мудрости». Именно поэтому Записка построена как историческая справка и критический анализ «правительственных» реформ, а не как свод поучений «хранительной мудрости». Ведь в конечном счете мудрость придворного (а им историограф был по чину и статусу) заключается в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не выглядеть мудрее самого государя.

Отсюда тот способ, с помощью которого Карамзин все-таки представил царю своеобразный свод принципов «мудрости хранительной». Они вкраплены в разные места Записки и представляют собой своего рода афоризмы консервативной политической философии. Но сведенные вместе, они оказываются тем, что можно было бы назвать «инструкцией по безопасности», которую обязан прочитать и вызубрить наизусть каждый, кто задумает реформировать действующий государственный механизм. Еще одна особенность этой «инструкции» состоит в том, что каждый ее пункт привязан к конкретному событию или сюжету российской истории, а потому смотрится как вывод из реального государственного опыта, а не как априорное предписание самоназначенного «мудреца».

Особенно нагляден в этом отношении **принцип первый**. Описывая сюжет с Лжедмитрием – его возвышением и последующим падением, Карамзин деликатно сообщает, что россияне «постепенно перестали уважать его, наконец, возненавидели», а в итоге «возложили руку на самозванца» [1, с. 26–27]. Казалось бы, народное восстание против поддержанного чужеземцами проходимца, дискредитировавшего российский царский трон, должно было вызвать у историографа как минимум симпатию, если не всецелую поддержку. Однако вывод из этого эпизода сделан совсем другой: «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей, или заблуждений государя. Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного исступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителя. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали в верности: горе его преемнику и народу!» [1, с. 27].

**Второй принцип** развивает и поддерживает тему «мудрости целых веков», необходимой для легитимации властного порядка. Оценивая деятельность «советников Александровых», которые вместо того, чтобы *исправлять* недостатки екатерининской системы, «захотели новостей в главных способах монаршего действия», Карамзин, формулирует такое «правило мудрых»: «всякая новость в государственном порядке есть зло, к которому надо прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем и все делаем лучше от привычки» [1, с. 56].

**Третий принцип**, навеянный подсказкой Макиавелли, трактует сюжет с политической диалектикой добра и зла. Если, согласно предыдущему принципу, любая политическая инновация – зло, то это не означает автоматически, что наличный властный порядок есть добро. Вопрос о выборе между инновацией и консервацией решается не с помощью моральных категорий, а с помощью адресации к неизменным законам человеческой природы. Даже если считать существующий порядок «злом», все равно, утверждает Карамзин, лучше позаботиться о его сохранности (путем *исправления!*), чем радикально его менять: «Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится» [1, с. 40].

**Принцип четвертый** нацелен против центрального пункта любой радикально-реформаторской идеологии, а именно, против тезиса о том, что главное – создать *правильные* институты. Карамзин по поиску «правильности» противопоставляет убежденность в том, «что люди в главных свойствах не изменились», а потому Александру стоит помнить: «Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского; без сего искусства тщетно будете искать народного блага в новых органических уставах!..» [1, с. 104–105]<sup>1</sup>.

Этот ключевой выбор в пользу умения выбирать правильных людей и *правильно* с ними обращаться не означает, что Карамзин предлагает государю модель, так сказать, «ручного управления» вместо государственной системы. Такая система, основанная на законах, должна существовать, только обосновывающие ее законы нужно устанавливать, ориентируясь не на абстрактную «правильность», а на национальную традицию. Утверждая, что конституционный проект Сперанского фактически есть перевод Кодекса Наполеона, Карамзин, формулируя **принцип пятый**, напоминает Александру, что даже такой инноватор, как Петр I, «ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств» [1, с. 91].

Понятно, что в этом сюжете Карамзин следует не раз упоминаемому им Монтескье, который, хотя и принадлежит хронологически «веку Просвещения», во многом закладывает основания уже консервативной рефлексии на просвещенческий политический рационализм. И у самого Карамзина поэтому следует зафиксировать важнейший **принцип шестой**. Он представляет собой ответ на ключевой тезис просвещенческой идеологии, согласно которому все народы (европейские по меньшей мере) должны переходить от «темных веков» к просвещенному состоянию, в котором все они обретут единые и единственно правильные государственные и общественные формы. Точнее – одну, универсально-правильную форму. Как метафорически сформулировал эту идею Кант: «*Просвещение – это выход человека из состояния несовершенности, в котором он находится по собственной вине*» [13, с. 127]. Карамзин же, напротив, утверждает: «Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, науки, искусства не имеют иной цены» [1, с. 33].

**Седьмой принцип** поясняет тему «благоденствия», которое Карамзин предлагает понимать отнюдь не в примитивно-материальном ключе. Вовсе не призывая к аскезе, он напоминает, что «1) за деньги не делается ничего великого; 2) изобилие располагает человека к праздной неге, противной всему великому» [1, с. 104].

Историческая справка вкупе с критическим анализом проведенных реформ, искусно совмещенная со сводом «мудрости хранилельной», дает возможность Карамзину обрисовать контур той России, на которую должен ориентироваться Александр: «Не довольно дать России хороших губернаторов – надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе.

Дворянство и духовенство, Сенат и Синод, как хранилище законов, – над всеми государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено, или ослаблено правилами царствующих» [1, с. 109].

Характерно при этом, что Карамзин как последовательный консерватор не берет на себя смелость судить о правильности или неправильности российского государственного устройства. Отбросив любые внешние критерии, он

<sup>1</sup> То же в форме краткого афоризма: «не формы, а люди важны» [1, с. 98].

апеллирует единственно к национальной традиции, которая может кому-то казаться «неправильной», но на самом деле является единственным основанием для оценки как настоящего положения дел, так и любых реформаторских проектов. И с аутентично консервативной иронией добавляет: «Я совсем не меланхолик, и не думаю подобно тем, которые, видя слабость правительства, ждут скоро разрушения, – нет! Государства живущи и в особенности Россия, движимая самодержавной властью! Если не придут к нам беды извне, то еще смело можем и долгое время заблуждаться в нашей внутренней государственной системе!» [1, с. 97].

### 3

Если Записка Карамзина совершенно точно была прочитана Александром, то в отношении текста Жозефа де Местра такой уверенности нет. Однако велика вероятность этого, поскольку де Местр писал свои четыре главы по прямой просьбе министра народного просвещения графа А.К. Разумовского, и в самом тексте не раз встречаются обороты, адресованные непосредственно Александру. В частности, завершая Заключение к главам, де Местр так оправдывает себя в роли неформального советника государя: «Все его помыслы заняты безопасностью, благоденствием и славой Его Императорского Величества. Каждая строка продиктована самой горячей привязанностью к его столь любезной и августейшей персоне» [4, с. 114].

В сравнении с Запиской Карамзина сразу заметно жанровое отличие деместровского текста. Диагностируя состояние России и предлагая средства для ее сохранения, автор четко определяет источник всех опасностей и угроз – век Просвещения, XVIII век. Особую специфичность тексту де Местра придает еще и то обстоятельство, что, будучи воинствующим католиком, он постоянно указывает на первоначальный исток просвещенческой «заразы» – Реформацию XVI века, породившую протестантизм. Поэтому открытая и яростная борьба с Просвещением и протестантизмом как мировоззренческими врагами России составляет одновременно и контекст, и нерв его четырех глав.

Это заметно уже в первой главе «О свободе», трактующей важнейший для Александра вопрос об отмене крепостного права, который, как мы убедились раньше, являлся фундаментальным по отношению ко всей государственно-политической реформе. Прежде чем говорить о «рабстве» (крепостничестве) в России, де Местр излагает общую теорию государственной стабильности, исходя из постулата о том, что «человек, если его предоставить самому себе, слишком зол, чтобы быть свободным» [4, с. 27]. Не удивительно поэтому, констатирует де Местр, что во всех человеческих обществах – независимо от формы правления – рабство признавалось вполне законным и даже естественным институтом. И только с появлением христианства началось постепенное освобождение человечества от этого института, поскольку эта религия дает человеку контроль над своей свободой. Поэтому де Местр заключает, что *«род человеческий в его целом способен воспринимать гражданскую свободу только в той мере, в какой его пронизывает и направляет христианство»* [4, с. 31].

Выделив два основных фактора, укрощающих «зло» человеческой свободы и обеспечивающих общественный порядок, де Местр проецирует их на Россию и утверждает: *«Рабство существует в России потому, что оно необходимо, и потому, что император не может править без рабства»* [4, с. 33]. И подкрепляет этот жесткий тезис разными по степени своей рискованности аргументами.

Во-первых, де Местр указывает на то обстоятельство, что задача управления большей частью подданных империи фактически решается не государственной властью, а персонально каждым помещиком – владельцем «кре-

постных душ». Расчет на управление с помощью общеимперских законов он отвергает категорически, утверждая, что «никаким народом нельзя управлять с помощью одних законов – такого никогда не было и никогда не будет» [4, с. 35]. Поэтому в интересах сохранения порядка и управляемости в столь большой империи следует как можно дольше сохранять такое положение вещей, при котором «каждый дворянин являет собой подлинного судью, своего рода гражданского правителя, который на своих землях имеет своих же охранителей общественного порядка и который облачен всей необходимой властью для того, чтобы в основном подавить необузданный порыв отдельных проявлений злой воли» [4, с. 34].

Уже здесь де Местр вступает на территорию риска, приглашая Александра I смириться с мыслью о том, что фактически его власти совершенно недостаточно для управления империей и что без полновластного (в пределах своих имений) дворянства империя просто развалится. Однако следующий аргумент еще более рискован, поскольку ставит под сомнение оправданность того религиозного выбора, который был сделан первыми русскими князьями в пользу византийского православия, а не римского католичества. Он заходит так далеко, что фактически ставит под вопрос само определение России как действительно христианской страны. Вот его тезис, за воспроизведение которого в знаменитом первом «Философическом письме» П.Я. Чаадаев был диагностирован Николаем I как сумасшедший: «Христианство – не слово, а дело, и если в нем нет силы, если оно не обладает всепроникающим влиянием, если в нем нет древней простоты и *властных служителей* [курсив мой – Л.П.], тогда оно перестает быть христианством, перестает быть тем, чем оно было в ту пору, когда даровало всеобщее освобождение. Пусть правительство не обольщается – его духовенство не имеет даже права голоса в государстве, оно не дерзает возвысить свой голос; и здесь мы говорим только самое малое: иностранец вовсе не говорит, что это *плохо*, он просто говорит, что *это так*» [4, с. 37].

При всех этих оговорках, необходимых для соблюдения максимального политеса иностранным посланником, де Местр все же вполне однозначно указывает Александру на острый дефицит такого управленческого ресурса, как религия. А это означает, что российский случай выпадает из общего правила, согласно которому *«любое верховное правление только в том случае обладает достаточной силой для водительства несколькими миллионами человек, если его поддерживает религия или рабство, или же то и другое вместе»* [4, с. 37]. Соответственно, де Местр адресуется к государю с таким риторическим вопросом: «Разве истинный друг Его Императорского Величества не найдет случая сообщить ему, что слава и благоденствие империи заключаются не столько в освобождении крепостной части народа, сколько в совершенствовании тех, кто свободен и, прежде всего, благороден?» [4, с. 43].

Отсутствие эффективного религиозного контроля над российским населением вообще (а не только над крепостными) несет в себе прямую угрозу государственного краха еще и потому, что «российская цивилизация по времени совпала с эпохой максимального развращения человеческого духа» [4, с. 40]. В русский XVIII век проникла «ужасная литература», и общество, воспитанное на ней, абсолютно беззащитно от вируса саморазрушения. И бывшие крепостные, оказавшись вне сферы управления дворян и лишённые эффективной религиозной опеки, «неминуемым образом резко перейдут от суеверия к атеизму и от бездеятельного послушания к безудержной деятельности» [4, с. 42].

И чтобы у Александра не оставалось сомнений на счет того, к какой именно «деятельности» перейдут несвоевременно освобожденные крепостные, де Местр вызывает из недалекого прошлого весьма символическую фигуру: «Вполне может получиться так, что при таком всеобщем умонастроении поя-

вится какой-нибудь новый Пугачёв с университетским образованием (что легко может произойти, потому что производство таковых налажено), присовокупим сюда равнодушие, беспомощность и тщеславие некоторых дворян, иноземное злодейство, козни той отвратительной секты, которая никогда не дремлет [об этой секте разговор впереди – Л.П.], прочие всевозможные обстоятельства, и тогда государство, сообразно всем законам вероятности, *рухнет* в прямом смысле этого слова...» [4, с. 42].

Можно предположить, что именно этот аргумент в итоге в наиболее сильной степени подействовал на Александра I, который так и не решился на то, на что все-таки вынужден был решиться Александр II. Крепостные еще полвека оставались негражданами, но и в отношении замещающей, так сказать, программы совершенствования свободных и благородных у де Местра было о чем предостеречь императора. И об этом вторая глава его Записки, имеющая заголовок «О науке». Эта, казалось бы, совершенно отвлеченная тема, на деле привязана к одной из составных частей реформы Сперанского, а именно – к попытке создать в России образованную бюрократию посредством введения экзаменов на чин.

В этом, казалось бы, вполне естественном и государственно необходимом деле де Местр усматривает столь же серьезную угрозу самому бытию России, как и в проекте отмены крепостного права. В аргументации сардинского посланника образ Пугачева «с университетским образованием» начинает массово тиражироваться, что должно неизбежно привести страну к революции. Поэтому имеет смысл проследить за тем, как именно он подводит Александра к этому апокалиптическому выводу.

Основной тезис, выдвигаемый де Местром против идеи совершенствования «благородных» с помощью экзаменов по разным наукам, заключается в том, что по своей природе наука вселяет в человека «непомерную гордыню, опьяняет самим собой и своими идеями, превращает во врага всякой иерархии, в человека, бросающего вызов всякому закону и установлению, наконец, в приверженца всяческих новшеств» [4, с. 48]. К этому добавляется еще и «самый главный недостаток», состоящий в том, что наука (то есть собственно естествознание) «уничтожает самую первую из всех наук, а именно науку управления государством» [4, с. 48]. Причем уничтожает в том смысле, что «посягает на благородство, смущающее ее, и всюду старается его низвергнуть, потому что именно благородство правит, но править хочется ей самой» [4, с. 52].

Вот этот конфликт образования и социального статуса, «учености» и «дворянства», который порождает наука, и должен, по мысли де Местра, вызывать постоянную озабоченность «государственных людей этой страны». Он не занимает позицию абсолютного обскуранта, предлагающего закрыть школы, университеты и вообще – «собрать все книги бы да сжечь». Напротив, он с похвалой отзывается о Генрихе IV и Людовике XIV, которые «покровительствовали всем наукам, что, конечно же, надо делать, ибо наука – одно из великих украшений общества» [4, с. 53]. Но не забудем – посланник размышляет о науке именно в России, специфика которой состоит в том, что она, в отличие от Европы (которая привыкала к науке многими веками), от негативного воздействия науки ничем не защищена.

А угроза вполне реальна, даже до такой степени, что де Местр позволяет себе очередное пророчество, явно обыгрывая личную биографию Сперанского, утверждая, что «наука постоянно создает угрозу для государства, непрестанно стремясь использовать людей без звания, имени и состояния, ибо, поскольку она является доступной для всех, низы, преисполнившись гордости, всегда стремятся для своего возвышения воспользоваться этой возможностью, и вот этого как раз и надо бояться, ибо, если *одна лишь* наука, без связи с дворян-

ством и богатствами, обусловленными территориально, слишком громко начинает заявлять о себе в сферах управления, *революция* [курсив мой – Л.П.] представляется неизбежной» [4, с. 55].

В целом де Местр не готов отвечать на вопрос, подходит ли Россия для науки, хотя воспоминание о величии Римской империи, вполне обходившейся без собственных науки, философии и искусства, на страницах этой Записки не может быть простой случайностью. Вместо этого он дает совет: нужно подождать, и «наука придет сама, когда для этого наступит время, и придет совершенно неожиданным образом» [4, с. 61]. Сколько ждать и каков этот образ – гадать не стоит. Главное здесь и сейчас найти способы для нейтрализации того зла, которое несет с собой несвоевременное распространение науки, о чем де Местр детально расскажет в заключительной части Записки.

В главе третьей «О религии» он выявляет еще одну угрозу будущему Российской Империи – усиливающееся влияние протестантизма. Это связано с тем, что в составе страны оказалось несколько территорий, населенных протестантами, а также и со странной, с точки зрения сардинского посланника, толерантностью православного духовенства по отношению к проповеднической деятельности протестантских миссионеров. Протестантизм стал распространяться в высших кругах российского общества, и это представляет собой крайнюю опасность для государства. И де Местр напоминает Александру: «В разрушительном духе XVI века берут начало все антиобщественные и антихристианские системы, появившиеся в наши дни: кальвинизм, янсенизм, лжефилософия, просвещение и так далее. Все это восходит к одному и должно рассматриваться как одна секта, которая поклялась уничтожить христианство и низвергнуть всех христианских правителей» [4, с. 64].

Главная опасность протестантизма очевидна уже из его названия – он представляет собой протест против многовековых церковных и государственных порядков, несет в себе дух противоречия, оспаривания общепринятых норм и догм. Он напрямую связан с распространением науки, и де Местр поэтому предупреждает: «Повсюду наука убивала религию; мы это видели в протестантских странах, но увидим и в России, если все оставим как есть» [4, с. 74–75]. Критический настрой, составляющий неперемнное условие научного знания, переносится протестантизмом в область веры, а затем распространяется и на государственные устои: «Любое расхожее и всеобщее обсуждение религиозных догматов влечет за собой такое же обсуждение политических положений» [4, с. 70]. А если этот тезис верен, то, заключает де Местр, «протестантизм скрывает в самом себе зародыш мятежа, который не замедлит развиваться при всяком удобном случае» [4, с. 71].

Разумеется, во всех этих и подобных антипротестантских инвективах просматривается вполне понятный конфессиональный интерес самого де Местра как ревностного католика ультрамонтанского толка. В конечном счете именно из-за того, что он свою непосредственную миссию посланника сардинского короля фактически подменил миссией посланника Папы Римского, он и был выслан из России в 1817 году. В своих четырех главах, обращенных непосредственно к Александру I, де Местр крайне осторожен в отношении конкретных правительственных мер и инициатив, предпочитая придавать своей критике общетеоретический (исторический и философский) характер. Но в «Санкт-Петербургских вечерах» он позволяет себе более прямой тон в отношении, например, одной из важных затей Александра – создания Библейского общества в январе 1813 года.

В «Беседе одиннадцатой» этой книги, построенной как диалог российского Сенатора, французского Кавалера на русской службе и Графа, то есть самого де Местра, последний прямо заявляет: «Библейское общество есть создание

протестантское, и как таковое должно быть осуждено вами [то есть русскими – Л.П.] точно так же, как и мною» [5, с. 580]. И добавляет самый последний и самый решающий аргумент: «Против Библейского общества нашлось бы еще много возражений, и самое убедительное из них вы же, г-н сенатор, и представили: *в делах, касающихся обращения в христианство, то, что не нравится Риму, ничего не стоит*» [5, с. 581].

Этот усиленный антипротестантский акцент третьей главы Записки де Местра призван склонить императора к восприятию католической церкви чуть ли не как единственного союзника и самой надежной опоры в противостоянии злу безверия и монархоборчества. В отличие от протестантизма, который «пронизан беспокойным республиканским духом» [4, с. 63], у католической церкви сами «ее догматы в политическом отношении вполне консервативны, и всюду, где она каким-то образом будет удерживать народ, он никогда не придет в ярость» [4, с. 76]. На предположительное сомнение читателя в отношении верности этого тезиса с учетом опыта Французской революции де Местр готов ответить в следующей и последней главе Записки «О Просвещении».

Да, действительно антицерковная и антимонархическая революция произошла именно в той стране, которая во всей Европе считалась незыблемым оплотом монархизма и католицизма. Этот парадокс де Местр попытался объяснить еще в 1797 году в своих «Рассуждениях о Франции», утверждая, что это была вполне заслуженная кара Провидения. Именно Франция в XVIII веке восприняла и максимально развила тот «дух Просвещения», который в итоге и подорвал все основания традиционного европейского порядка. Возмездие настигло Францию заслуженно: «Именно Франция была во главе религиозной системы, и не без основания Король Французов назывался *христианнейшим* <...> Однако, поскольку Франция использовала свое влияние, чтобы воспротивиться своему предназначению и развратить Европу, не следует удивляться тому, что ее возвращают к этому предназначению ужасными способами» [6, с. 19].

Разумеется, по отношению к России в 1811 году у де Местра не было оснований рассуждать в подобном ключе – 1815 год и Священный Союз были еще впереди. Но поскольку де Местр неоднократно пугает Александра I призраком российского издания Французской революции, ему показалось правильным указать на основной исток этой угрозы – а именно на то, что в общеевропейском и российском обиходе получило обобщенное название «Просвещение». Сардинский посланник разъясняет российскому императору, что под этим брендом скрывается весьма разнообразная когорта «просветителей», часто смешиваемых с так называемыми иллюминатами Адама Вейсхаупта. Среди них есть, во-первых, франкмасоны, во-вторых, мартинисты и пиетисты, и хотя они все время должны оставаться в статусе «подозреваемых», все же «Его Императорскому Величеству в политическом отношении, наверное, не следует слишком опасаться этих людей» [4, с. 85].

А вот кого действительно нужно всерьез опасаться, так это так называемой третьей категории *просвещенных*, о которой де Местр говорит без упоминания имен (за исключением «общества Бавьера»), но опять сводя все к изобличенному ранее протестантизму: «Настоящее просвещение – это современная лжефилософия, отпочковавшаяся от протестантизма, а точнее – от кальвинизма, ибо можно сказать, что кальвинизм вобрал в себя и уподобил себе все прочие секты» [4, с. 86]. Де Местр не имеет доказательств того, что «настоящее Просвещение» – это реальная тайная организация, планирующая и осуществляющая подрывные акции по всей Европе. Но для него «не так уж важно, в каком виде она существует». Свою разрушительную работу это «некое широкое дьявольское единство систем, взглядов и средств» уже проделало в Европе,



и российский император, вероятно, должен страшиться не столько Наполеона, сколько этого тайного невидимого врага.

«В своем наступлении эта организация как будто остановилась на подступах к России. Почему? – спрашивает де Местр. – Потому что народ, а лучше сказать огромная глыба нации просто не готова воспринять ее нашествие, но если правительство предоставит протестантам свободу действий и начнет покровительствовать протестантскому учению, в России случится то, что уже случилось в других странах» [4, с. 89]. Этот довольно рискованный тезис, возлагающий ответственность за возможную революционную катастрофу на российских правителей, он усугубляет еще и таким напоминанием: «Самый большой и пагубный талант, которым обладает эта проклятая секта, пользующаяся всеми средствами для достижения своих целей, со времени ее появления заключался в умении использовать самих правителей ради их же уничтожения» [4, с. 93].

В общем, Александр I должен осознать, что «перед нами чудовище, вообразившее в себя всех прочих чудовищ, и если мы его не убьем, оно убьет нас» [4, с. 92].

Из этого последнего замечания можно сделать вывод, что де Местр призывает российского императора к тотальному гонению на протестантов и чуть ли не повторению в России «Варфоломеевской ночи». На самом деле все не так страшно. Суммируя в Заклучении свои «консервативные положения, относящиеся к России», он выдвигает программу контрреформации в узком смысле (в смысле противодействия реформе Сперанского) и одновременно – программу контр-Просвещения в смысле самом широком. Десять пунктов этой единой программы сводятся к нескольким основным положениям.

Во-первых, освобождение крестьян не должно проводиться широко и гласно и не на основе какого-либо закона. Одновременно нужно стремиться уменьшать любые злоупотребления, усиливающие стремление крепостных к освобождению. Но при этом ни в коем случае публично не подавать эту идею как нравственное и политическое благодеяние со стороны дворянства.

Во-вторых, производить в дворянство нужно не по итогам экзаменов, а только при наличии земельных владений и особых заслуг. Богатство (торгово-купеческое) не должно быть основанием для получения дворянства.

В-третьих, не популяризировать «науку» как таковую, ограничивать узким кругом набор знаний, необходимых для каждой профессии, «не допускать никакого общественного обучения» и «никоим образом не поощрять распространение наук в низших слоях народа и даже незаметно препятствовать всякому начинанию такого рода» [4, с. 111].

В-четвертых, комплекс мер, касающихся положения религии в России. Конечно, де Местр настаивает на гармонизации отношений между православием и католичеством, которое «является подлинным союзником государства» [4, с. 112]. Протестантизм держать под строгим контролем, но, как ни удивительно – не мешать не только обращению протестантов в католицизм, но и обратному процессу! Неожиданный жест религиозной толерантности де Местр поясняет следующим образом: «Это их дело, и как только государство предоставит тем и другим свободу действий, сказать будет нечего» [4, с. 112].

Наконец, в-пятых, де Местр призывает государя проводить жесткую политику в области подбора и назначения учителей и воспитателей в российские школы, училища и университеты, смысл которой прост: русскому юношеству – русских наставников. Если же все-таки потребуются иностранцы, то предпочитать, разумеется, католиков, а не протестантов. И главное помнить, что из каждых ста приглашаемых на «ниву» российского образования иностранцев, «по меньшей мере в девяносто девяти случаях государство совершает для себя пагубное приобретение, потому что всякий, у кого есть семья,

собственность, устоявшийся склад характера и определенная репутация, не поедет в чужую страну, а останется у себя дома» [4, с. 113]. Позже, в «Санкт-Петербургских вечерах» он сформулирует этот тезис в виде такого афоризма: «Лучше вовсе не иметь университетов, чем переполнить их иностранцами!» [5, с. 608].

#### 4

Сопоставляя Записку Карамзина и главы о России де Местра, можно сделать самый общий вывод о том, что оба текста представляют собой *консервативную* реакцию на предельно радикальную попытку тотальной реформы, представлявшей собой не что иное как очередное в российской истории издание «революции сверху». И в том, что эта революция была остановлена и свернута, условно говоря, на четверти пути, видится прямая «заслуга» и придворного историографа, и сардинского посланника. Особо нужно подчеркнуть, что ни один из них не затевал интригу против могущественного государственного секретаря, а выступал его принципиальным идейным оппонентом. Здесь не было «ничего личного»: здесь было лобовое столкновение идеологий: либерализма, с одной стороны, консерватизма – с другой. В этой «битве за царя» победу одержал консерватизм, и траектория исторического движения России приняла известное направление.

Но уже из характера аргументации, которую использовали и требовавший «мудрости хранительной» Карамзин, и развивавший свои «консервативные положения» де Местр, мы могли заметить определенные различия между их консерватизмом. Лучше всего их можно описать с помощью той классификации типов консерватизма, которую в свое время разработал С. Хантингтон, определяя эту идеологию как институциональную и позиционную [11, с. 233, 238]. Оба мыслителя защищают традиционные институты России, такие как самодержавие, дворянско-крепостнический строй и православную церковь. Но делают это с разных позиций.

Для Карамзина главный аргумент против реформ Сперанского – российская история, подсказывающая неумолимую логику принятия неограниченного самодержавия как «палладиума России». Его консерватизм спозиционирован во внутривнутрироссийском (хотя и расширенном в тысячелетие) контексте. И его непреклонный монархизм связан не столько с неким групповым (классовым) интересом, сколько с подчинением «воле» отечественной истории как российской «судьбы». Карамзин – консерватор, так сказать, «не от рождения», а по убеждению, которое выработалось у него в зрелые годы, но не зачеркнуло тех идеалов, которые он питал в годы путешествия по Европе и ярко представленных в «Письмах русского путешественника».

И хотя даже тогда молодой Карамзин, побывав на заседаниях английского парламента, отметил «славного Борка» [2, с. 464], он много лет спустя в письме к П.А. Вяземскому от 18 августа 1818 года честно признавался: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу, великую, удивительную, и скорее может упасть, нежели еще более возвеличиться. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правление было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае <...> Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец, и таким умру» [3, с. 204]. Указавший на сходство подобной позиции с той, которой придерживался еще В. Татищев, Ричард Пайс при этом однозначно и вполне обоснованно охарактеризовал Записку Карамзина как «классический манифест русского консерватизма» [9, с. 122].

Де Местр в молодости тоже не был чужд либеральных увлечений и симпатий к конституционализму и даже стал в 1788 году сенатором герцогства Савойского. Однако после Французской революции он превратился в радикального и беспощадного оппонента «века Просвещения», выработав мировоззрение, которое некоторые исследователи не решаются определять как консерватизм. В частности, такой блистательный знаток наследия де Местра, как Исая Берлин, не соглашаясь признавать его консерватором в одном ряду с де Бональдом, предложил смотреть на него сквозь призму тоталитарной трагедии XX века. Приводя знаменитый отрывок из «Санкт-Петербургских вечеров», в котором де Местр сравнивает землю с алтарем, на котором ежеминутно приносятся кровавые жертвы, И. Берлин резюмирует: «Это не квиетизм и не консерватизм, не слепая вера в status quo, не обскурантизм духовенства. Что-то сближает его с параноидальным миром современного фашизма, и поразительно, что мы имеем дело с самым началом XIX века» [8, с. 230].

Отказ И. Берлина зачислять де Местра в консерваторы, рядоположные Бёрку и де Бональду, и сближение с «фашизмом» смотрятся как парадоксальная гипотеза, намекающая на «что-то», но не раскрывающая смысл этого намека до конца. Не совсем понятно, о каком «фашизме» говорит И. Берлин – об аутентичной доктрине Б. Муссолини или о фашизме «вообще», включающем и гитлеровский национал-социализм, и фалангизм Франко, и все авторитарные режимы Европы. Ссылка на фашизм как «кульминацию мощного антиреволюционного движения» [8, с. 236] мало что разъясняет.

Но даже если де Местра действительно нужно отличать от Бёрка и де Бональда по крайней мере стилистически, то в отношении его идеологической позиции в главах о России сомнений быть не может – она последовательно и аргументированно консервативная. И дело не только в том, что так ее именует сам де Местр. Существенно то, что он проецирует сначала французскую, а потому и общеевропейскую революционную ситуацию на Россию, усматривая здесь те же самые вызовы, которые не были своевременно опознаны и адекватно встречены охранителями европейского «старого порядка».

Разумеется, полной аналогии между Европой и Россией нет, и это де Местр подчеркивает не раз. Но – тем хуже для России! Если уж привычная к науке Европа с ее многовековой традицией университетов не смогла устоять под ударами просвещенческого рационализма и атеизма, то что же говорить о России, в которой наука еще практически в «детском» возрасте. И если даже в Европе, воспитанной католической церковью и обладающей мощной церковной иерархией, протестантизм сумел разрушить основы традиционного мировоззрения и заразить массы вирусом революции, то куда легче ему это удастся сделать в стране с малоавторитетным и мироотрешенным духовенством.

И если уж действительно ставить вопрос предельно радикально: консерватор ли де Местр, если парадигматичным автором является Эдмунд Бёрк, отстаивавший достоинства английской «конституции» в противовес конституционным проектам французских революционеров и их британских симпатизантов (таких, например, как Томас Пейн и Джозеф Пристли), то в ответ можно привести такой аргумент. В наброске заключительной беседы «Санкт-Петербургских вечеров» де Местр прямо обличает характерную для русских страсть к новизне, «которая образует, быть может, самую яркую черту вашего характера» [5, с. 606]. И приводит такой пример для подражания: «Но взгляните на другие народы, населяющие земной шар, – их привела к славе система прямо противоположная! Упрямый британец тому доказательство <...> Хотите ли и вы, чтобы величие ваше сравнялось с вашей мощью? – так следуйте же подобным образцам; во всем, даже в мелочах, противодействуйте духу новшеств и перемен» [5, с. 606–607].

В дальнейшем такие классики русского консерватизма, как К.Н. Леонтьев, К.Н. Победоносцев, Л.А. Тихомиров и В.В. Розанов, неустанно пытались следовать этому завету. Но, зная последующую судьбу России, приходится выбирать из двух предположений: то ли не так этому завету следовали, то ли сам завет был неверен. Иного не дано?

### Литература

1. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
2. *Карамзин Н.* Письма русского путешественника. М.: Советская Россия, 1983.
3. *Карамзин Н.М.* Избранные статьи и письма. М.: Современник, 1982.
4. *Местр, Жозеф де.* Четыре неизданные главы о России. Письма русскому дворянину об испанской инквизиции. СПб.: Владимир Даль, 2007.
5. *Местр, Жозеф де.* Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998.
6. *Местр, Жозеф де.* Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997.
7. *Сперанский М.М.* Руководство к познанию законов. СПб.: Наука, 2002.
8. *Берлин, Исая.* Жозеф де Местр и истоки фашизма // *Философия свободы. Европа.* М.: Новое литературное обозрение, 2001.
9. *Пайпс, Ричард.* Русский консерватизм и его критики. М.: Новое издательство, 2008.
10. *Томсинов В.А.* Светило русской бюрократии (М.М. Сперанский). М.: Теис, 1997.
11. *Хантингтон С.* Консерватизм как идеология // *Тетради по консерватизму.* 2016. № 1. С. 231–250.
12. *Эйдельман Н.* Последний летописец. М.: Книга, 1983.
13. *Кант И.* Сочинения. Трактаты и статьи (1784–1796). М.: Камі, 1994. Т. I.

*Аннотация.* Статья посвящена сравнительному анализу двух важнейших документов эпохи либеральных реформ первого десятилетия правления императора Александра I – «Записке о древней и новой России» придворного историка Николая Карамзина и «Четырем неизданным главам о России» посланника сардинского короля в России графа Жозефа де Местра. Оба текста появились в 1811 году и были адресованы непосредственно императору. Они содержали радикальную критику тех реформ, которые по указанию Александра проводил его ближайший помощник, государственный секретарь Михаил Сперанский. Карамзин и де Местр не интриговали против Сперанского лично, но представили императору развернутую консервативную аргументацию против таких ключевых идей реформы Сперанского как отмена крепостного права, ограничение самодержавия посредством конституции и просветительство (в научном и религиозном смысле). Хотя сами эти документы были известны лишь небольшому кругу русской элиты и были опубликованы лишь столетия спустя, их можно рассматривать как смыслопорождающие для последующей отечественной консервативной традиции.

*Ключевые слова:* реформа, самодержавие, Просвещение, консерватизм, конституция, крепостное право.

Leonid Polyakov, Ph.D. in Philosophy; Professor, Department of Political Science, Higher School of Economics; Member of the ISEPR Expert's Council. E-mail: leopolen@yandex.ru

**The Origin of Russian Conservatism: Nikolai Karamzin and Josef de Maistre**

*Abstract.* In the article the author gives comparative analysis of the two most important documents in the epoch of liberal reforms in the first decade of the reign of Emperor Alexander I – “Notes on Ancient and Modern Russia” by the court historian Nikolai Karamzin and “Four Unpublished Chapters on Russia” count Josef de Maistre, special envoy of King of Sardinia in Russia. Both texts appeared in 1811 and were addressed to the Emperor himself. They contained radical criticism of the whole specter of the reforms implemented by the order of Alexander by his closest aide – State Secretary Mikhail Speransky. Both authors were not plotting against Speransky, but rather had provided Emperor with comprehensive conservative arguments against the key ideas of Speranski’s reforms – such as abolition of serfdom, constitutional limitation of absolute monarchy and broad program of enlightenment in the spheres of higher education, sciences and religion. In spite of the fact that both documents had rather limited circulation among the top circle of Russian elite of the time and were published only half a century later, they could be viewed as truly seminal for further national conservative trend.

*Keywords:* Reform, Absolute Monarchy, Enlightenment, Conservatism, Constitution, Serfdom.